Моя родина (Из воспоминаний детства)

*Пришвин М.М.*

Мать моя вставала рано, до солнца. Я однажды встал тоже до солнца, чтобы на заре расставить силки на перепёлок. Мать угостила меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху всегда покрывалось румяной пенкой, а под этой пенкой оно было необыкновенно вкусное, и чай от него делался прекрасным.

Это угощение решило мою жизнь в хорошую сторону: я начал вставать до солнца, чтобы напиться с мамой вкусного чаю. Мало-помалу я к этому утреннему вставанию так привык, что уже не мог проспать восход солнца.

Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать.

И часто-часто я думаю: что, если бы мы так для работы своей поднимались с солнцем! Сколько бы тогда у людей прибыло здоровья, радости, жизни и счастья!

После чаю я уходил на охоту за перепёлками, скворцами, соловьями, кузнечиками, горлинками, бабочками. Ружья тогда у меня ещё не было, да и теперь ружьё в моей охоте необязательно.

Моя охота была и тогда и теперь — в находках. Нужно было найти в природе такое, чего я ещё не видел, и может быть, и никто ещё в своей жизни с этим не встречался...

Хозяйство моё было большое, тропы бесчисленные.

Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы[,](https://www.tikitoki.ru/) и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять — их надо открывать и показывать.

Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоёмы.

В лесах, степях, горах разные ценные животные — будем охранять наши леса, степи, горы.
+

Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес степь, горы.

А человеку нужна родина. И охранять природу — значит охранять родину.

Наше отечество

*Ушинский К.Д.*

Наше отечество, наша родина — матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши.

Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились. В ней говорят родным нам языком, и всё в ней для нас родное; а матерью — потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать она защищает и бережёт нас от всяких врагов.

Велика наша Родина-мать — святорусская земля! От запада к востоку тянется она почти на одиннадцать тысяч вёрст; а от севера к югу на четыре с половиною.

Не в одной, а в двух частях света раскинулась Русь: в Европе и в Азии...

Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать — одна у него и родина.

Русская песня

*Иван Шмелёв*

Я с нетерпением поджидал лета, следя за его приближением по хорошо мне известным признакам.

Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок. Его вытягивали из огромного сундука, пропитанного запахом камфары, и вываливали из него груду парусиновых курточек и штанишек для примерки. Я подолгу должен был стоять на одном месте, снимать, надевать, опять снимать и снова надевать, а меня повертывали, закалывали на мне, припускали и отпускали — «на полвершочка». Я потел и вертелся, а за не выставленными ещё рамами качались тополевые ветки с золотившимися от клея почками и радостно голубело небо.

Вторым и важным признаком весны-лета было появление рыжего маляра, от которого пахло самой весной — замазкой и красками. Маляр приходил выставлять рамы — «впущать весну» — наводить ремонт. Он появлялся всегда внезапно и говорил мрачно, покачиваясь:

— Ну, и где у вас тут чего?..

И с таким видом выхватывал стамески из-за тесёмки грязного фартука, словно хотел зарезать. Потом начинал драть замазку и сердито мурлыкать под нос:

И-ах и тё-мы-най ле-со...

Да йехх и тё-мы-на-ай...

Я старался узнать, что дальше, но суровый маляр вдруг останавливал стамеску, глотал из жёлтой бутылочки, у которой на зелёном ярлычке стояло «политура», плевал на пол, свирепо взглядывал на меня и начинал опять:

Ах-ехх и в тёмы-на-ам ле...

Да и в тё... мы-ны-мм!..

И пел всё громче. И потому ли, что он только всего и пел, что про темный лес, или потому, что вскрякивал и вздыхал, взглядывая свирепо исподлобья, — он казался мне очень страшным.

Потом мы его хорошо узнали, когда он оттаскал моего приятеля Ваську за волосы.

Так было дело.

Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сеней, на солнышке. Помурлыкав про тёмный лес, где «сы-тоя-ла ах да и со-сенка», маляр заснул, ничего больше не сообщив. Лежал он на спине, а его рыжая борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, тоже забрались на крышу — пускать «монаха». Но ветру и на крыше не было. Тогда Васька от нечего делать принялся щекотать соломинкой голые маляровы пятки. Но они были покрыты серой и твердой кожей, похожей на замазку, и маляру было нипочём. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим тоненьким голосом запел:

И-ах и в тё-мы-ном ле-э...

Рот маляра перекосился, и улыбка выползла из-под рыжих его усов на сухие губы. Должно быть, было приятно ему, но он всё-таки не проснулся. Тогда Васька предложил приняться за маляра как следует. И мы принялись-таки.

Васька приволок на крышу большую кисть и ведро с краской и выкрасил маляру пятки. Маляр лягнулся и успокоился. Васька состроил рожу и продолжал. Он обвел маляру у щиколоток по зелёному браслету, а я осторожно покрасил большие пальцы и ноготки.

Маляр сладко похрапывал — должно быть, от удовольствия.

Тогда Васька обвёл вокруг маляра широкий «заколдованный круг», присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую с удовольствием подхватил и я:

Рыжий красного спросил:

— Чем ты бороду лучил?

— Я не краской, не замазкой,

Я на солнышке лежал!

Я на солнышке лежал,

Кверху бороду держал!

Маляр заворочался и зевнул. Мы притихли, а он повернулся на бок и выкрасился. Тут и вышло. Я махнул в слуховое окошко, а Васька поскользнулся и попал маляру в лапы. Маляр оттрепал Ваську и грозил окунуть в ведерко, но скоро развеселился, гладил по спине Ваську и приговаривал:

— А ты не реви, дурашка. Такой же растёт у меня в деревне. Что хозяйской краски извёл, дура... да ещё ревёт!

С того случая маляр сделался нашим другом. Он пропел нам всю песенку про тёмный лес, как срубили сосенку, как «угы-на-ли добра молодца в чужу-далънюю сы-то-ронуш-ку!..». Хорошая была песенка. И так жалостливо пел он её, что думалось мне: не про себя ли и пел её? Пел и ещё песенки — про «тёмную ноченьку, осеннюю», и про «берёзыньку», и ещё про «поле чистое»...

Впервые тогда, на крыше сеней, почувствовал я неведомый мне дотоле мир — тоски и раздолья, таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда, на крыше сеней, в ворковании сизых голубков, в унылых звуках маляровой песни, приоткрылся мне новый мир — и ласковой и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждёт чего-то... Тогда-то, на ранней моей поре, — впервые, быть может, — почувствовал я силу и красоту народного слова русского, мягкость его, и ласку, и раздолье. Просто пришло оно и ласково легло в душу. Потом — я познал его: крепость его и сладость. И всё узнаю его...

Деревня

*Иван Тургенев*

Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия — родной край.

Ровной синевой залито всё небо; одно лишь облачко на нём — не то плывёт, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух — молоко парное!

Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами.

И дымком-то пахнет, и травой — и дёгтем маленько — и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжёлый, но приятный дух.

Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, книзу исщеплённые ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и неба — синеватая черта большой реки.

Вдоль оврага — по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворечницы; над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конёк. Неровные стёкла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалёваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки; за высокими порогами прохладно темнеют сени.

Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть ещё немного посохнет на припёке, а там и в сарай! То- то будет спать на нём славно!

Курчавые детские головки торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок барахтается в спутанных былинках.

Русокудрые парни, в чистых низко подпоясанных рубахах, в тяжёлых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряжённую телегу, — зубоскалят.

Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеётся не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене.

Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца... Ведро дрожит и качается на верёвке, роняя длинные огнистые капли.

Передо мной стоит старуха-хозяйка в новой клетчатой понёве, в новых котах.

Крупные дутые бусы в три ряда обвились вокруг смуглой худой шеи; седая голова повязана жёлтым платком с красными крапинками; низко навис он над потускневшими глазами.

Но приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается всё морщинистое лицо. Чай, седьмой десяток доживает старушка... а и теперь ещё видать: красавица была в своё время!

Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть ещё тёплого хлеба. «Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!»

Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями; ему в ответ, не спеша, промычал запертой телёнок.

— Ай да овёс! — слышится голос моего кучера.

О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!

И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде, и всё, чего так добиваемся мы, городские люди?

Собрание чудес

*Константин Паустовский*

У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. Была такая мечта и у меня, — обязательно попасть на Боровое озеро.

От деревни, где я жил в то лето, до озера было всего двадцать километров. Все отговаривали меня идти, — и дорога скучная, и озеро как озеро, кругом только лес, сухие болота да брусника. Картина известная!

— Чего ты туда рвёшься, на этот озер! — сердился огородный сторож Семён. — Чего не видал? Народ какой пошёл суетливый, хваткий, господи! Всё ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть, своим глазом высмотреть! А что ты там высмотришь? Один водоём. И более ничего!

— А ты там был?

— А на кой он мне сдался, этот озер! У меня других дел нету, что ли? Вот они где сидят, все мои дела! — Семён постучал кулаком по своей коричневой шее. — На загорбке!

Но я всё-таки пошёл на озеро. Со мной увязались двое деревенских мальчишек — Лёнька и Ваня.

Не успели мы выйти за околицу, как тотчас обнаружилась полная враждебность характеров Лёньки и Вани. Лёнька всё, что видел вокруг, прикидывал на рубли.

— Вот, глядите, — говорил он мне своим гугнивым голосом, — гусак идёт. На сколько он, по- вашему, тянет?

— Откуда я знаю!

— Рублей на сто, пожалуй, тянет, — мечтательно говорил Лёнька и тут же спрашивал: — А вот эта сосна на сколько потянет? Рублей на двести? Или на все триста?

— Счетовод! — презрительно заметил Ваня и шмыгнул носом. — У самого мозги на гривенник тянут, а ко всему приценивается. Глаза бы мои на него не глядели.

После этого Лёнька и Ваня остановились, и я услышал хорошо знакомый разговор — предвестник драки. Он состоял, как это и принято, только из одних вопросов и восклицаний.

— Это чьи же мозги на гривенник тянут? Мои?

— Небось не мои!

— Ты смотри!

— Сам смотри!

— Не хватай! Не для тебя картуз шили!

— Ох, как бы я тебя не толканул по-своему!

— А ты не пугай! В нос мне не тычь! Схватка была короткая, но решительная.

Лёнька подобрал картуз, сплюнул и пошёл, обиженный, обратно в деревню. Я начал стыдить Ваню.

— Это конечно! — сказал, смутившись, Ваня. — Я сгоряча подрался. С ним все дерутся, с Лёнькой. Скучный он какой-то! Ему дай волю, он на всё цены навешает, как в сельпо. На каждый колосок. И непременно сведёт весь лес, порубит на дрова. А я больше всего на свете боюсь, когда сводят лес. Страсть как боюсь!

— Это почему же?

— От лесов кислород. Порубят леса, кислород сделается жидкий, проховый. И земле уже будет не под силу его притягивать, подле себя держать. Улетит он во-он куда! — Ваня показал на свежее утреннее небо. — Нечем будет человеку дышать. Лесничий мне объяснял.

Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи. Они облепили ноги и сыпались с веток за шиворот. Десятки муравьиных дорог, посыпанных песком, тянулись между дубами и можжевельником. Иногда такая дорога проходила, как по туннелю, под узловатыми корнями дуба и снова подымалась на поверхность. Муравьиное движение на этих дорогах шло непрерывно. В одну сторону муравьи бежали порожняком, а возвращались с товаром — белыми зёрнышками, сухими лапками жуков, мёртвыми осами и мохнатой гусеницей.

— Суета! — сказал Ваня. — Как в Москве. В этот лес один старик приезжает из Москвы за муравьиными яйцами. Каждый год. Мешками увозит. Это самый птичий корм. И рыбу на них хорошо ловить. Крючочек нужно махонький- махонький!

За дубовым перелеском, на опушке, у края сыпучей песчаной дороги стоял покосившийся крест с чёрной жестяной иконкой. По кресту ползли красные, в белую крапинку, божьи коровки.

Тихий ветер дул в лицо с овсяных полей. Овсы шелестели, гнулись, по ним бежала седая волна.

За овсяным полем мы прошли через деревню Полково. Я давно заметил, что почти все полковские крестьяне отличаются от окрестных жителей высоким ростом.

— Статный народ в Полкове! — говорили с завистью наши, заборьевские. — Гренадеры! Барабанщики!

В Полкове мы зашли передохнуть в избу к Василию Лялину — высокому красивому старику с пегой бородой. Седые клочья торчали в беспорядке в его чёрных косматых волосах.

Когда мы входили в избу к Лялину, он закричал:

— Головы пригните! Головы! Все у меня лоб о притолоку расшибают! Больно в Полкове высокий народ, а недогадливы,— избы ставят по низкому росту.

За разговором с Лялиным я, наконец, узнал, почему полковские крестьяне такие высокие.

— История! — сказал Лялин. — Ты думаешь, мы зря вымахали в вышину? Зря даже кузька-жучок не живёт. Тоже имеет своё назначение.

Ваня засмеялся.

— Ты смеяться погоди! — строго заметил Лялин. — Ещё мало учён, чтобы смеяться. Ты слушай. Был в России такой дуроломный царь — император Павел? Или не был?

— Был, — сказал Ваня. — Мы учили.

— Был да сплыл. А делов понаделал таких, что до сих пор нам икается. Свирепый был господин. Солдат на параде не в ту сторону глаза скосил, — он сейчас распаляется и начинает греметь: «В Сибирь! На каторгу! Триста шомполов!» Вот какой был царь! Ну и вышло такое дело, — полк гренадерский ему не угодил. Он и кричит: «Шагом марш в указанном направлении за тыщу вёрст! Походом! А через тыщу вёрст стать на вечный постой!» И показывает перстом направление. Ну, полк, конечно, поворотился и зашагал. Что сделаешь! Шагали-шагали три месяца и дошагали до этого места. Кругом лес непролазный. Одна дебрь. Остановились, стали избы рубить, глину мять, класть печи, рыть колодцы. Построили деревню и прозвали ее Полково, в знак того, что целый полк ее строил и в ней обитал. Потом, конечно, пришло освобождение, да солдаты прижились к этой местности, и, почитай, все здесь и остались. Местность, сам видишь, благодатная. Были те солдаты — гренадеры и великаны — наши пращуры. От них и наш рост. Ежели не веришь, езжай в город, в музей. Там тебе бумаги покажут. В них всё прописано. И ты подумай, — ещё бы две версты им прошагать и вышли бы к реке, там бы и стали постоем. Так нет, не посмели ослушаться приказа, — точно остановились. Народ до сих пор удивляется. «Чего это вы, говорят, полковские, вперлись в лес? Не было вам, что ли, места у реки? Страшенные, говорят, верзилы, а догадки в башке, видать, маловато». Ну, объяснишь им, как было дело, тогда соглашаются. «Против приказа, говорят, не попрёшь! Это факт!»

Василий Лялин вызвался проводить нас до леса, показать тропу на Боровое озеро. Сначала мы прошли через песчаное поле, заросшее бессмертником и полынью. Потом выбежали нам навстречу заросли молоденьких сосен. Сосновый лес встретил нас после горячих полей тишиной и прохладой. Высоко в солнечных косых лучах перепархивали, будто загораясь, синие сойки. Чистые лужи стояли на заросшей дороге, и через синие эти лужи проплывали облака. Запахло земляникой, нагретыми пнями. Заблестели на листьях орешника капли не то росы, не то вчерашнего дождя. Гулко падали шишки.

— Великий лес! — вздохнул Лялин. — Ветер задует, и загудят эти сосны, как колокола.

Потом сосны сменились берёзами, и за ними блеснула вода.

— Боровое? — спросил я.

— Нет. До Борового ещё шагать и шагать. Это Ларино озерцо. Пойдём, поглядишь в воду, засмотришься.

Вода в Ларином озерце была глубокая и прозрачная до самого дна. Только у берега она чуть вздрагивала, — там из-под мхов вливался в озерцо родник. На дне лежало несколько тёмных больших стволов. Они поблёскивали слабым и тёмным огнём, когда до них добиралось солнце.

— Чёрный дуб, — сказал Лялин. — Морёный, вековой. Мы один вытащили, только работать с ним трудно. Пилы ломает. Но уж ежели сделаешь вещь — скалку или, скажем, коромысло, — так навек! Тяжёлое дерево, в воде тонет.

Солнце блестело в тёмной воде. Под ней лежали древние дубы, будто отлитые из чёрной стали. А над водой, отражаясь в ней жёлтыми и лиловыми лепестками, летали бабочки.

Лялин вывел нас на глухую дорогу.

— Прямо ступайте, — показал он, — покамест не упрётесь в мшары, в сухое болото. А по мшарам пойдёт тропка до самого озера. Только сторожко идите, — там колков много.

Он попрощался и ушёл. Мы пошли с Ваней по лесной дороге. Лес делался всё выше, таинственней и темнее. На соснах застыла ручьями золотая смола.

Сначала были ещё видны колеи, давным-давно поросшие травой, но потом они исчезли, и розовый вереск закрыл всю дорогу сухим весёлым ковром.

Дорога привела нас к невысокому обрыву. Под ним расстилались мшары — густое и прогретое до корней берёзовое и осиновое мелколесье. Деревца тянулись из глубокого мха. По мху то тут, то там были разбросаны мелкие жёлтые цветы и валялись сухие ветки с белыми лишаями.

Через мшары вела узкая тропа. Она обходила высокие кочки.

В конце тропы чёрной синевой светилась вода — Боровое озеро.

Мы осторожно пошли по мшарам. Из-под мха торчали острые, как копья, колки, — остатки берёзовых и осиновых стволов. Начались заросли брусники. Одна щёчка у каждой ягоды — та, что повёрнута к югу, — была совсем красная, а другая только начинала розоветь.

Тяжёлый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье, ломая сушняк.

Мы вышли к озеру. Трава выше пояса стояла по его берегам. Вода поплёскивала в корнях старых деревьев. Из-под корней выскочил дикий утёнок и с отчаянным писком побежал по воде.

Вода в Боровом была чёрная, чистая. Острова белых лилий цвели на воде и приторно пахли. Ударила рыба, и лилии закачались.

— Вот благодать! — сказал Ваня. — Давайте будем здесь жить, пока не кончатся наши сухари.

Я согласился.

Мы пробыли на озере два дня.

Мы видели закаты и сумерки и путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра. Мы слышали крики диких гусей и звуки ночного дождя. Он шёл недолго, около часа, и тихо позванивал по озеру, будто протягивал между чёрным небом и водой тонкие, как паутина, дрожащие струнки.

Вот и всё, что я хотел рассказать.

Но с тех пор я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли.

Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой её тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной пичуги.